



# Часть первая

## Глава 1

Труднее всего привыкнуть, что твоя жизнь немного опережает время.

И не как-нибудь абстрактно опережает, не иносказательно, а по-настоящему. Ты всегда живешь в завтрашнем дне, и все, что еще только произойдет с твоими близкими завтра, через восемь часов, с тобой происходит вот уже сейчас, сегодня.

За три года, прожитые на Сахалине, Юрий Валентинович Гринев так к этому и не привык. Он просто перестал ощущать эту странную, немного нереальную разницу во времени, перестал машинально высчитывать, который теперь час в Москве.

И в тот день, когда он перестал это делать, — понял, что забыл Москву.

Он понял, что наконец перестал соотносить свою нынешнюю жизнь с прошлой, и вздохнул с облегчением и одновременно с самому себе непонятным оттенком горечи. Как будто кто-то таким образом разрешил ему не думать о смутных и тревожных вещах, о которых думать не хотелось и раньше, но думалось помимо воли. Непонятно было только, почему не обрадовала эта наконец обретенная свобода от прошлого.

И вот теперь, выходя из операционной в девятом часу утра, Гринев ни о чем таком и не думал. А думал только о том, что уже девятый час, что дежурство его кончилось, а в отряде у него сегодня выходной и, пожалуй, можно будет

поспать часов пять совершенно спокойно. Впрочем, если выяснится, что за время его больничного дежурства возникли какие-нибудь неожиданные обстоятельства, которые требуют его непереманного присутствия, — тоже ничего страшного. Он просто не поспит, и к этому ему тоже не привыкать, тем более сегодняшняя ночь была средней тяжести: в основном бытовые и не слишком опасные травмы, не то что в прошлый раз.

Юре часто не удавалось поспать после дежурства, еще когда работал в Склифе: просто наваливалась новая работа, дневная, и сон как-то сам собою отодвигался на потом. А в Армении, потом в Абхазии о сне вообще забывали, и ничего.

Но он был тогда молод, здоров и, главное, постоянно чувствовал в себе то ровное воодушевление работой, которое помогало ему даже больше, чем молодость и здоровье. Здоровье вроде никуда не делось, а воодушевления теперь, конечно, стало поменьше. Но оно все-таки осталось, не ушло совсем.

И поэтому, выходя сумеречным осенним утром из операционной, Юрий Гринев чувствовал то, что называл «остаточной бодростью», которая, в случае необходимости, почти без его усилий могла продлиться на сколь угодно долгое время.

— Что в Москве у вас творится! — Этими словами, да еще произнесенными слегка растерянным тоном, вместо «доброе утра», встретил его в ординаторской Гена Рачинский. — Путч опять, а, Валентиныч?

Рачинский стал заведованием меньше года назад. Работай Гринев к тому времени только в больнице, заведующим был бы он, это все понимали, и Гена тоже. Но заведовать травматологией и одновременно работать в отряде — это было, конечно, невозможно. Да и Абхазия еще была у всех на памяти — когда его командировка вместо двух недель растянулась на три месяца.

Став заведующим, Гена долго еще приглядывался к Гриневу: отслеживал реакцию, предполагая зависть и скрытую неприязнь... Это было так смешно, что Юра даже не тратил

## Возраст третьей любви

сил на опровержение. И как опровергнешь — лицо, что ли, делать одухотворенное?

Как все-таки странно: не понимать, что сожаление о сделанном выборе — самим ли сделанном, судьбою ли — глупо и бессмысленно...

Через полгода Рачинский перестал приглядываться к Юриным реакциям, это произошло как-то само собою и больше не вспоминалось.

— Какой еще путч? — удивленно спросил Юра. — Ты, Ген, видно, вечер вчера неправильно построил! Головка не бо-бо?

— Почему неправильно? — хмыкнул Гена. — Очень даже правильно! Посидели «Под мухой», все путем. Смотри, картинка по телевизору вместо новостей, того и гляди «Лебединое озеро» заиграют.

Кафе «Под мухой» находилось в Южно-Сахалинске прямо рядом с вокзалом. Его называли так по привычке: еще с тех пор, когда тучи мух роились над грязными столами, садясь на замызганные тарелки с серыми пельменями и тусклые стаканы с водкой. В самом начале перестройки кафе взял в аренду оборотистый кореец и с невиданной быстротой превратил его в образцовую картинку будущего капитализма: с чистенькими кабинками, по-домашнему приготовленными корейскими блюдами и улыбчивыми, хорошенькими официантками. Вот только название оказалось прилипчивым, хотя давно уже не имело ничего общего с действительностью.

Об этих неважных, но почему-то тоже прилипчивых мелочах Юра подумал машинально, оглядываясь на стоящий в углу ординаторской телевизор. Действительно, заставка первого канала безмолвствовала на экране.

— Вроде депутаты против Ельцина взбунтовались, — сказал Гена. — А сам он где, вообще не поймешь. Да что вообще поймешь, когда у нас тут уже завтра, а у них, считай, еще вчера!

Прошлое снова напоминало о себе, настигало несовпадением времени, безмолвной картинкой на экране — всеми неясностями, от которых так хотелось уйти.

— Ну, значит, до их завтра и потерпим, — хмуро бросил Юра. — Что гадать-то? Потом разберемся.

— Да-а, в прошлый раз когда путчевали, все попонятней вроде было... — задумчиво произнес Гена. — Даешь свободу, и все дела. А теперь поди пойми! Юр, ты что-нибудь понимаешь?

Отвечать на Генин вопрос не хотелось: и потому, что он, конечно, тоже ничего не понимал, и потому, что невестрелованная «остаточная бодрость» сменилась усталостью. Но Рачинский не отставал.

— Нет, ну ты скажи! — повторил он. — Ты скажи, Юр, вот ты, например, куда бы сейчас пошел, если б в Москве был? Кого защищать?

— Дежурил бы, наверно, — чтобы отвязаться, ответил Юра. — В больнице или в отряде. Да что ты спрашиваешь — когда это мы без работы сидели?

— А в первый путч ты за кого ходил? — не унимался Гена: он от природы был разговорчив, а бурная современная жизнь, особенно политическая, только усиливала это его природное качество. — Ты же, кажется, в первый путч как раз в отпуске был, к своим ездил?

— А я тогда как раз девятнадцатого августа вернулся. — Юра через голову стянул зеленую хирургическую рубашку. — Ни за кого не успел... Ладно, Гена, пойду, что ж перед телевизором-то зря сидеть? Потом узнаем. Ты Лазарева моего сегодняшнего, с ампутацией, завтра сам перевяжи, ладно? Боюсь, загноится, а Люся не заметит вовремя.

Люся была опытной перевязочной сестрой, но Юра не любил с нею работать: чувствовал в ней какое-то равнодушное умение — и придраться невозможно, и доверять не хочется.

— А она все равно заболела, — ответил Гена. — Сам перевяжу, не волнуйся. С новенькой, — подмигнул он. — Не видел еще? Така-ая, скажу тебе, птичка — пальчики оближешь! Кореяночка, молоденькая, глазки как у стрекозы... А фигурка! После училища распределилась, двадцати нет, значит.

— Ладно, ладно, — улыбнулся Юра. — Ты, главное, сам перевяжи, девочка-то ничего еще не умеет, наверное.

## Возраст третьей любви

Женщины были слабостью заведующего травматологией Гены Рачинского, и он не делал из этого секрета. А что такого, если представительному и разговорчивому сорокалетнему мужчине нравятся красивые женщины? В Генином отношении к ним почти не было похабства, и было даже какое-то особенное франтоватое изящество, любимое всеми дамами, за которыми он ухлестывал одновременно. Даже жена смотрела на его романы сквозь пальцы, по всей видимости, находя в супруге достоинства, которые уравнивали эту слабость.

— Зря ты, Юрка, — заметил Рачинский. — Ей-Богу, зря! Катерина опять тобой интересовалась. Знаешь, из ожогового? И чего не взять, когда, считай, сама дает? Тебе хорошо, и ей приятно...

Это замечание Юра слышал уже только одним ухом, свободным от телефонной трубки: как раз выслушивал доклад дежурного о том, что все спокойно, никакого чрезвычайного положения не объявлено и, значит, никаких пока нет причин ему отменять свой выходной.

— Я подумаю, — кивнул он, нажимая на рычаг. — Тебе, Ген, первому сообщу.

— Буду ждать с нетерпением! — хмыкнул Рачинский. — Вот же люди, счастья своего не понимают! Живет один, не звелит никто над ухом, бабы сами липнут... Ну, дело хозяйское.

Простившись с Генной, Гринев спустился по гулкой прокуренной лестнице и вышел из больницы.

Генкины расспросы были ему не слишком приятны. Если не отвечать на них в ожидаемом собеседником духе, то надо просто уходить от прямых ответов и отделяться шуточками. А это тоже надоедало... Юра и сам не понимал, почему он, мужчина, перешагнувший порог первой молодости и вступивший в расцвет своих лет, не обиженный ни умом, ни внешностью, ни работой, явно имеющий успех у женщин, — совсем не стремится все это использовать. Да, по правде говоря, ему и не хотелось это объяснять, даже себе самому не хотелось, а уж тем более Рачинскому.

Не хочется — это было самое исчерпывающее объяснение, которое он мог себе дать. За свои тридцать лет Юрий Гринев понял, что «не хочется» — вообще единственное честное объяснение человеческих поступков. Почему не хочется поступать так или иначе, это уже другой вопрос. Лень, противно, неинтересно, стыдно, скучно или смешно — у каждого свое. Но через себя все равно не перепрыгнешь, и чего не захочешь, того делать и не станешь, как себя ни обманывай.

Это было не Бог весть какое открытие, зато его собственное — и, не будучи склонным к отвлеченному философствованию, Юра даже обрадовался, когда его совершил.

Кажется, это произошло сразу после института, он первый год работал в Склифе. Ну да, тогда и произошло, когда после возвращения из Армении ему пришлось объясняться с парторгом.

— Почему же все-таки, Юрий Валентинович, вы проявили такую странную самодеятельность? — спрашивал парторг.

Парторга в таком большом учреждении, как Институт Склифосовского, не очень хорошо знали даже давно работающие врачи, а уж Гринев не знал и подавно.

Юра смотрел на него, пытаясь уловить во внешности этого средних лет мужчины хоть что-нибудь, за что могло бы зацепиться внимание: взгляд какой-нибудь особенный, что ли, или хоть бородавку приметную на губе. Ни бородавки не было, ни тем более взгляда. Глаза у парторга были светлые, волосы русые, нос прямой. Смотрел он вроде бы испытующе, но Юре отчего-то показалось, что это внимание во взгляде — на самом деле только маскировка, умелая имитация внимания, за которой не кроется ничего, кроме равнодушия.

Это было какое-то очень глубокое, даже глубинное равнодушие, которое никак нельзя было уловить по внешним признакам. Внешне-то как раз парторг демонстрировал явный интерес к тому, о чем спрашивал. Казалось, что он и впрямь хочет узнать, зачем это Юрий Валентинович Гринев, молодой, перспективный ординатор, напорол

## Возраст третьей любви

горячку и улетел в Армению, не дожидаясь, пока от Института Склифосовского будет направлена группа врачей.

— Почему вам было не подождать немного и не полететь как положено? — Теперь парторг иначе сформулировал вопрос, но суть была та же. — Вы что, считали, только у вас есть сознательность, а здесь сидят бездушные эгоисты?

— Я не считал, — наконец ответил Юра, так и не найдя в лице парторга ни единой зацепки для взгляда. — Я об этом вообще не думал. У меня остался неиспользованный отпуск, и я его использовал.

— Тем более странно! — хмыкнул тот. — Зачем использовать свой отпуск, почему было не дожидаться официального направления?

Юра почувствовал, что ему становится невыносимо скучно.

— Не знаю, — пожал он плечами. — Не хотелось дожидаться.

Можно было, конечно, объяснить, что в группу от Склифа наверняка включили бы не вчерашнего студента, а опытных врачей, и это правильно, и он это прекрасно понимал. Так оно, кстати, и получилось, Юра сам убедился в этом уже в Ленинакане, когда отыскал своих, склифовских, которые оперировали на уцелевшей станции «Скорой помощи».

И чего ему было ждать? Пока под развалинами никого живых не останется? Он и пошел к знакомому комсомольскому деятелю и как раз успел включиться в группу, которая вылетала в Армению следующим вечером. И заведованием прекрасно все понял, сразу подписал заявление на отпуск.

Юра вообще не понимал, отчего вдруг эти вопросы, и этот парторг, и это равнодушие, замаскированное под внимание, даже под угрозу... Это так не сочеталось со всем, что происходило с ним там, это пришло из какого-то другого, параллельного мира, в существование которого Юре трудно было теперь, после всего, поверить...

Можно было начать объясняться, но зачем? Парторг наверняка и сам прекрасно знал, что Гринева не направили бы от Склифа, и спокойно врал теперь, задавая дурацкие вопросы и глядя прямо ему в глаза.



И в эту минуту Юра понял вдруг, что сказал чистую правду. Что объяснение, которое он дал просто от нежелания объяснить, — исчерпывающее. Ему не хотелось сидеть и ждать. Ему хотелось быть там, где он считал нужным быть. А все остальное просто комментарий, который даже в книжках мало кто читает.

С тех пор прошло пять лет, а это «не хотелось» и теперь казалось Юре единственным правильным объяснением. Может быть, оно и отдавало эгоизмом, но об этом он не думал.

Коридор, по которому он шел к двери своей квартиры, напоминал коридор дома Нирнзее на углу Тверской и Гнездииковского.

Юра тогда еще подумал об этом знаменитом московском доме, когда впервые шел по вымытому коридору облэдратовской малосемейки в Южно-Сахалинске. Здесь ему предстояло жить, может быть, очень долго, это был теперь его дом; Юра оторвал привязанную к ключу тряпочку с номером своей новой квартиры.

А в дом Нирнзее его лет с пяти водила когда-то бабушка Эмилия. Водила без особенной необходимости — там не было для Юры ничего, как он тогда считал, интересного, только всякие скучные издательства и редакции, в которых работали бабушкины бесчисленные знакомые. Но она любила брать его с собою повсюду, а он любил ходить с нею повсюду, и потому безропотно сидел в тесных прокуренных комнатах, смотрел в окно на широкие, как поля, зеленые крыши соседних домов, читал взрослые книжки, пачкал руки о свежие журнальные гранки и ожидал, когда бабушка наконец переговорит со всеми обо всех своих загадочных делах.

Эта загадочность женских разговоров с детства была ему так же привычна, как сама бабушка Миля, любимая и любящая. Поэтому Юра не боялся женских загадок и не слишком вдумывался в них.

А дом Нирнзее сразу вспомнился ему здесь, в Южном, потому что тоже ведь был обыкновенной дореволюцион-

## Возраст третьей любви

ной малосемейкой; разве что потолки повыше да комнаты попросторнее.

В конце коридора, у окна, стояла Настя Рыбакова. Она курила под форточкой, дверь в ее комнату была полуоткрыта.

— Юрий Валентинович! — позвала она, издали заметив его. — А в Москве путч опять, слышали? Коля перед работой по телевизору включал. Они там в этом Белом доме заперлись и телевидение хотят захватить, стреляют. Не поймешь кто, не поймешь в кого, ужас прямо! Что ж теперь будет, а?

Наблюдая, как Гринев идет к ней по коридору, Настя сделала шаг ему навстречу. Полы ее халатика распахнулись, высоко открыв красивую ногу, и Настя поправила халатик — но не внизу, а сверху, у выреза, где и так все было в порядке.

— Не знаю, Настя. — Юра остановился в двух шагах от нее. — Я с дежурства только, ничего еще не знаю.

— Ну, я думала, может, вам там, как спасателям из Москвы, сообщили что-нибудь, — объяснила Настя.

— Я из больницы, с дежурства, — повторил он. — Меньше тебя знаю.

— Жа-алко! — протянула Настя и снова поправила на груди халатик, одновременно делая какое-то особенное, стреляющее движение с утра подведенными глазками. — А я думала, зайдете, расскажете...

— У тебя там пригорает что-то. — Улыбаясь, Юра кивнул на ее приоткрытую дверь. — Извини, Настенька, спать хочу — умираю.

Настя была как раз из тех женщин, которые были очень не прочь и с которыми вот именно не хотелось. С ней не хотелось главным образом потому, что жили по соседству и часто курили здесь же, в коридоре, вместе с ее мужем Колей Рыбаковым, шофером со «Скорой». И поэтому противно было, что она так завлекающе поправляет халатик и смотрит поблескивающими голубыми глазами, призывно приоткрыв губы.

Хотя вообще-то и противно не было — просто не думалось о ней ни одной минуты. Не хотелось.

Пока Юра стоял под душем, пока растирался большим махровым полотенцем, чайник уже щелкнул, закипев. Чайник подарили в больнице к тридцатилетию, и он оказался лучшим подарком: отключался самостоятельно, долго не остывал — в общем, не заставлял о себе думать.

На экране телевизора пролистывались залы Третьяковки, бархатный женский голос рассказывал о Врубеле, Царевна Лебедь знакомо манила тревожными глазами. Юра насыпал чай в маленький заварник и, ожидая, пока настоится, жевал бутерброд, машинально переключая кнопки на пульте. Всюду было одно и то же: зимние виды московских бульваров, пестрые осенние сахалинские сопки, детишки со скрипками... Вчерашний московский день еще не успел их догнать.

Юра собирался поспать, но чай заварил как всегда — до густоты темный, как деготь. Мама называла его уголовным чифирем и даже говорила, что пить такой — самоубийство. Но не запрещала заваривать ни разу, даже когда Юра был мальчишкой. Мама вообще ничего никому не запрещала, даже Еве с Полинкой, а уж тем более ему или папе. Но то, о чем она просила, все они выполняли беспрекословно и без лишних расспросов. Вот она уж точно была по-настоящему загадочной женщиной, Юра с самого детства это знал.

А «уголовный чифирь» после работы почему-то не бодрил, а, наоборот — успокаивал. Юра налил чай в большую синюю чашку; полустертый медвежонок на дне скрылся под темной заваркой. Эта чашка была немногим моложе его: бабушка Миля подарила внуку к пятилетнему юбилею и сказала, что надо выпивать все молоко до капли, иначе медвежонок на дне захлебнется. Чашка была огромная, чуть не целая бутылка молока в нее помещалась. Юрка давился, но выпивал до капли: жалко было медвежонка.

Он и теперь улыбнулся, вспомнив об этом. Чашка с медвежонком была едва ли не единственной домашней вещью, которую он привез сюда, на Сахалин. Все остальное — не хотелось.

Правда, и чашку он забыл сначала, когда уезжал три года назад. Теперь он понимал: его тогдашний отъезд напо-

## Возраст третьей любви

минал побег, поэтому ничего удивительного, что было не до подробностей. Только в первый и единственный свой приезд домой он забрал синюю чашку.

Теперь она стояла на столе, прозрачный пар струился над нею, и Юра чувствовал себя дома, глядя на этот пар.

Последний раз пробежавшись по программам, он выключил телевизор и разложил диван. Диван он всегда раскладывал, хотя спал обычно один, и постель всегда была свежей. Дома все с детства посмеивались над его маниакальной чистоплотностью, а потом, когда он вырос, удивлялись: как это Юрочка при такой любви к чистоте работает хирургом — ведь кровь, гной!.. И как он, привыкший душ принимать утром и вечером, чувствует себя в неприспособленных для жизни местах, по которым носит его судьба?

Он надеялся мгновенно отключиться после бессонной ночи, но вместо ожидаемого покоя совсем другое, странное состояние охватило его. Полусон-полуявь, как на легкой невидимой лодочке, и реальность — вот он лежит в полумраке сахалинского осеннего утра на своем диване — сплетается с воспоминаниями.

## Глава 2

Мамин день рожденья был в сентябре, десятого, но отмечать она решила семнадцатого августа, заодно с Юркиными проводами.

— Мам, да нельзя же, кажется, заранее, — вспомнил было Юра.

— Ерунда. — Мама улыбнулась и провела ладонью по его носу. — Глупые приметы, если не верить, то ничего и не будет плохого. Ты уезжаешь, это важнее.

Юра как раз, наоборот, склонен был верить в приметы и даже лыжные ботинки всегда зашнуровывал особенным «счастливым» способом. Но маме ведь все приметы заменяет интуиция, и, значит, что для Юры приметы, то для нее —